

Я.: В ближайшем месяце выйдет на английском языке мои мемуары. Здесь они вызовут скандал, зарубежом, я думаю, нормально. Эти мемуары как бы результат, что ли.

Филип: Как называется по-русски?

Я.: По-русски это «Омут Памяти» - глубины памяти, так сказать, где-то там, где черти водятся. Какой они дадут заголовок. Они попросили дать им право самим выбрать. Ну это обычная издательская практика. Они мне еще не сказали, хотя книга уже переведена. Книга переведена. Вот. Но что Вас конкретно интересует?

Ф.: У меня есть несколько вопросов, но давайте начнем с Вашей речи в 92-м году, когда Вы говорили о «революции совести». Вы также говорили о чувстве «скита», которое было у разных людей. Я бы хотел узнать подробнее, что Вы имели ввиду? Что было за этими словами, потому что это сильные слова?

Я.: Понимаете, да это была очень любопытная конференция. Ее лично сам Папа организовал, выступал, кстати, довольно резко в отношении этики капитализма. И конференция эта называлась «Этика капитализма». Да, я там выступал. Бжезинский там был из Америки, кто-то был из Англии, но я забыл. Это узкая – человек 12-15 – мало совсем. Понимаете какая штука, дело все в том, что... Конечно я понимаю, что то, что я тогда говорил это иллюзия, но ей Богу, я все-таки продолжаю верить, что человек выйдет из варварского состояния. Я по-моему там же говорил, а может быть в другом месте, что мы напрасно называем себя цивилизованными людьми. Это просто наше стыдливое прикрытие нашей сущности. На самом деле мы варвары и переживаем еще варварский период. Почему? Одни только машины не могут быть признаком цивилизации. Признаком цивилизации может быть только совесть. А совесть, если она настоящая, она не позволяет убивать людей, например. Пока люди будут убивать друг друга, мы остаемся в эпохе варварства. Мы никак не можем понять, что надо преодолеть вот какие-то интересы – а они разные – с тем, чтобы люди перешли на, в общем-то, очень старую идею, но на очень правильную – на диалог. Ну, ей Богу, вот допустим, мы бы с Вами посорились о чем-то. Ну зачем драться-то? Ну давайте терпимо поговорим друг с другом, объясним друг другу, где мы не поняли друг друга, где мы заблуждаемся, где еще что-то, понимаете? Но правящие силы до сих пор во всех странах – вернее не силы, ну, да, силы, чиновники. Ведь, что интересно, интересы чиновника не совпадают с интересами народа. Они разные. Вот как найти вот это сближение интересов, чтобы действительно чиновник служил интересам людей, а он служит себе? Даже в развитых демократиях, как Англия, в традиционных демократиях... Другой разговор, что отличие есть, скажем от России – там, в Англии все-таки действия чиновника могут быть ограничены законом. Все-таки, если он явно нарушит закон, то он может понести ответственность. У нас ответственности у чиновника нет за невыполнением закона. Ну, в Америке я наблюдал, у вас тоже, в Германии, во Франции это есть. И стоит только маленькую слабину чиновнику дать, то он немедленно идет к авторитаризму, а потом к тоталитаризму. Он тоталитарен по определению. Ни британский, ни русский, ни французский, ни германский, ни американский чиновник не может быть демократом по определению, у него функции другие.

Что может сблизить? Ну вот это у меня идея-фикс, которой я придерживаюсь. Ну вот воспитание совестливости, совестливое отношение к другому человеку, т.е. признание его таким же, а может быть даже и лучше. Вот когда человек будет считать, что другие рядом с ним лучше его, вот тогда он найдет свое место. В этом все дело, вот. А пока-что человек говорит, что он «за свободу, за свободу», а в душе хочет быть... каждый раб хочет быть рабовладельцем.

Ф.: Да, интересно. Ваше понятие совести «кантовское»?

Я.: Да, я кантианец. Это Вы уловили правильно. Я считаю его для себя – я не настаиваю, это моя точка зрения – это философ номер один.

Ф.: Но Ваш опыт совести – интересен. Например, в воспоминаниях Черняева есть момент, когда Шеворнадзе хотел что-то сделать в Афганистане и Черняев по телефону обсуждал с Вами, по-моему, послать войска в Афганистан и Вы сказали «я не могу это сделать, это против моей совести». Это было интересно. В философском плане, что Вы имели в виду, употребляя такое слово?

Я.: Так трудно объяснить. Ну у меня это пошло от мамы. Вот мама, она у меня неграмотная совершенно была. Она не умела ни писать, ни читать. Она нам все время говорила: «Нет, это делать неловко, неловко». Есть такое русское слово неловко, неудобно, стыдно. Вот как у меня в практике, потому что я же лез через грязное горнило-то, трубу-то политика. Вот, как я вот сам? Нет, я никакм пассионарством не занимался, протестами там, и прочее. Я не делал то, что не считал для себя не надо делать, или, если это было уж обязательно, я делал так, чтобы из этого ничего практически не вытекало. И начинал крутить, так сказать, с одной стороны и с другой стороны, и так далее. Еще особенно меня выручало – почему я попал – я пользовался безграмотностью других членов Политбюро. Они мало читали, мало знали, мало интересовались, но они трепетали, даже Горбачев, но в меньшей степени, но даже он. У него хорошее высшее образование, но среднего такого. Я обязательно вписывал туда как говорил кто-нибудь из классиков, даже из Марксизма там что-нибудь – у них же есть фразы на все случаи в жизни, по-моему - да, что хочешь, а особенно из классиков, разрешенных у нас писателей, вот что-нибудь такое. Вот это производило впечатление, вроде как бы оправдывало. То есть приходилось – как я пишу в мемуарах и до этого – приходилось, Вы знаете, лукавить, лукавить, но чтобы не потнрять самого себя. Я все время для себя говорил, чтобы я не делал, не потеряй себя. И ведь, это странно, что до сих пор ко мне не могут предъявить вот конкретных претензий. «Вот, говорят, он же пропагандировал Марксизм, читал лекции», а я не читал. «Вот он за религию, а сам занимался антирелигиозной пропагандой», а я не занимался. Ни одного совещания не проводил – я все время поручал заместителям, вот как антирелигиозное... Нет, я неверующий человек, но я никак не мог понять почему другому человеку надо заставлять его быть неверующим, так это же его дело. Понимаете, вот это чувство... вот я о маме сказал, но меня на всю жизнь – я написал в мемуарах и книжках – поразили слова отца, а у него было 4 класса образования всего в церковно-приходской школе. Он, как-то мама принесла в святой праздник какой-то святую воду из церкви и надо было по ложечке выпить, а я уже учился то ли во втором классе. Я говорю: «Мама, я не буду». «Почему?» А я и говорю: «Учительница, Елена Сергеевна, сказала, что все это чепуха». Она выплеснула эту святую воду и мне этой ложкой по лбу за это, как наказание, за такие плохие слова. Что она выплеснула святую воду на пол, так это ничего, так сказать, а вот-так меня – наказать. И вот папа вмешался – «не трогай его».

И сказал: «Ему жить – ему и решать. Пусть выбирает сам». Это второй класс еще, девять лет, там, совсем еще и вот «ему жить – ему и выбирать». И вот это чувство свободы выбора – это и есть свобода, а остальное все как-то можно объяснить, можно... Ну, это как говорят, вещи. Которые рядом, они внутри. Свобода выбора. Но вот это-то и подсказывает, а какого выбора? Совестьливый выбор или несовестьливый? Преступник выбирает престыпность, это с совестью рядом не лежит.

Что еще я вкладываю? Я вкладываю еще терпимость. Понимаете, как бы вы не... Ну, вот, скажем там Зюганов – дружить я с ним не буду, пусть я никогда его не приглашу и так далее. Я с ним не согласен по всем пунктам, так сказать, но, чтобы вот идти и не поздороваться, так сказать, я этого не понимаю. Или вот наши отношения с Горбачевым. Мы с ним очень сильно разошлись, сейчас так более-менее терпимо, перезваниваемся, но мы ни разу не потрнряли человеческих отношений друг с другом. Если он приглашает меня на день рождения, я иду на день рождения. Я его, он – тоже. Т.е. мы соблюдали... оставляли, несмотря на многие подходы, на раздражения, человеческие отношения. Не путали вот политику с людьми. Понимаете, т.е. совесть ведь она многообразна. Совесть – это поступок. Он выражается в мелочах иногда, не только в крупных каких-то делах.

Ф.: Например, когда Вы употребляли слово «стыд», «стыдно», [I think] в книге «The Fate of Marxism in Russia», Вы сказали, что «даже для меня было трудно уйти от чувства зависимости, из этой системы рабства». Просто хотел узнать, чувствовали ли Вы какой-нибудь стыд из-за этой системы лично?

Я.: Понимаете, я это чувствовал... Это тоже этапы. На одном этапе – одно... Но постепенно... Вы знаете, не то, что за систему. Сейчас мне стыдно за систему перед поколениями, что вот мы оказались лопоухими и бестыжими людьми. Но вот здесь и потом мне было стыдно за конкретные дела. Мне было... как бы я не нес ответственности, я видел просто и мне было стыдно, как так можно? Ну, например, я помню случай, когда за колоски у нас ведь в тюрьму сажали, за сбор колосков на полях оставшихся. Однажды арестовали женщину, муж у нее погиб на фронте, а двое детей оставалось и надо было их в детский дом. Ее – в тюрьму, а детей – в детский дом. Мне было так стыдно, так стыдно, вот так неловко. Это было где-нибудь в 47-м, в 48-м. Или я помню работал в газете, написал очерк о хорошей женщине. Она – бригадир в колхозе, муж у нее погиб, остался мальчишка. Я написал очерк о ней, хороший очерк, так сказать, как о женщине, как о страдающей – муж на фронте, все. А знаете, как в редакции, статья валяется, валяется, а потом главный редактор – не хватает, там, поставит ее. Читаю утром – моя статья, а на следующее утро звонок от этой самой женщины. Она мне говорит: «Ну, как же Вы могли такое напечатать? Так нехорошо, Вы написали...». «А в чем дело-то?» «Да вот Вы пишете, что я иду с сыном по улице за ручку, а ведь его машина задавила месяц назад». Вы знаете, я тут не при чем. Я добрый очерк о человеке написал, но там была неправда в том, что ребенка-то задавили за это время, он умер и для нее это было горько. И мне было стыдно, вот понимаете? Стыдно. Хотя я непричем. Вот. Я поехал в деревню к ней извиняться просто. Ну, как-то мы чайку попили и, так сказать, вот.

Ф.: А как Вы чувствовали во времена, когда диссиденты были? Я вот читал, что Вы чуть-чуть были счастливы потом из-за Вашего поведения по поводу суда Розановой и Синявского и сказали, что «я не был очень храбрым по отношению к ней».

Я.: Нет, храбрым там не надо быть. Мне Суслов позвонил и сказал, чтобы я шел на суд. А я не хотел идти, хотя надо было, интересно было бы. Я все-таки отбрехался и назвал другого человека из отдела культуры, Милентьева, и он пошел. Это распустили такой слух, что я вот подписывал записку об освящении. Но это была записка КГБ. Я только написал о том, что вот, как там обычно – «широко освещать результаты процесса». Ко мне потом, увидев, что несправедливые нападки коммунистов, пришли ко мне домой Синявский с Розановой, вот, оба, чтобы поддержать, потом всем рассказали. А Розанова внимательно следила за всем этим и она заявила где-то, что не было опубликовано ни одной статьи после суда. Ни одной. Вот, о чем речь идет тогда? И, да, действительно было неприятно. Иногда приходилось, вот КГБ вносит предложение о суде над кем-нибудь там, а отдел пропаганды отвечает только, с отделом культуры, кстати, как освещать все это дело. Вот и все. Вот я до сих пор жалею, что не пошел на суд. Теперь мне было бы интересно на этот спектакль посмотреть, хотя мои ребыта были и рассказывали, что это был спектакль. Суслов был недоволен – неудачно это все прошло, хотя и осудили, конечно, но неубедительно.

Ф.: Бал ли процесс Перестройки для Вас личным, так сказать, личной эволюцией, личной попыткой справиться с прошлым, или это может быть не было так?

Я.: Я думаю, только воспримите правильно, что это не какое-то хвастовство. Да, это было в значительной мере моим личным как бы эволюцией моей. Это не было спонтанно возникшем. Это копилось долго и я наблюдал... Меня к этому толкнул, как это не странно вроде бы, сам Марксизм, когда я по-настоящему начал изучать его, я увидел и двойственность и поверхностность этого учения. Особенно то, что меня больше увлекает мол то, что я сам занимался идеологией, Вот если бы сам не занимался бы идеологией, я бы не выступил против нее, потому что я слишком хорошо это знал. А когда очень хорошо что-то знаешь, у тебя есть мнение об этом формируется. И для меня было ясно, что мы занимаемся обманом, дезинформацией. Делаем одно, а пишем совсем другое, манипуляцией общественной – и это противно, стыдно. Хотя, к сожалению, занимается этим и Англия, и Америка сейчас, вот, и мы еще продолжаем заниматься. Да, это был в огромной мере личный протест.

Третий момент, я же работал во времена Хрущева и Брежнева и... Но Брежнев меня выгнал на 10 лет в Канаду. Я оказывается был «слабым идеологическим работником», надо было крепче быть. Обозвали меня либералом и послали. И слава Богу. Я благодарен за это дело, а так бы перепачкался бы в этой грязи. Хочешь-нехочешь, а жизнь каждый день тебе чего-то подсовывает вот для решения. Но тогда я и выступил с этой статьей против Отечества, и слвав Богу. Ладно. И при Андропове, и при... - всех я их знал. И я пошел на сотрудничество с Горбачевым, когда мы несколько раз переговорили всякие проблемы и я почувствовал, что он где-то внутренне готов на какие-то подвижки. Я, у меня не было тогда впечатления, что он был готов на то, что случилось на самом деле. Но то, что на частичные изменения готов, это у меня было такое ощущение. Но когда... А вот Гласность пришлось приводить уже самому, это все двигать, его неспрашивая. Но я пользовался тем, что ни разу, когда на Политбюро возникала критика этой линии, он ни разу не поддержал – просто молчал. Но, а раз Генеральный молчит, значит он поддерживает вот Яковлева, там, допустим, опубликование какого-то произведения. Это было сложилась очень интересная ситуация, поскольку вторым лицом официально был Легачев - Секретариаты вел, а на самом деле в общественном мнении и в ЦК считали, что я второй фактически человек, ну, кукловод Горбачева, так сказать. И, как «Московские Новости» написали, что

«Горбачев озвучивает только то, что ему говорит Яковлев». Но это не совсем так, неправильно, вот, но... Горбачев сам достаточно...

Но, понимаете, на каком-то этапе произошла такая загадочная вещь. Когда началось, вошла в силу Гласность, Перестройка взяла свою логику, независимую от нас, понимаете? Оказывается в общественном развитии на каком-то этапе есть своя логика. И сам удивляешься, что она идет – ты вроде бы этого, для этого вроде бы ничего не делаешь, а идет. Это любопытное явление, требует, между прочим, особого философско-исторического анализа. И года через два Перестройка свою логику преобрела. Так сначала мы догоняли время, а потом время нас толкало в зад.

Ф.: Я интересовался этой темой и заметил, что в эволюции Ваших взглядах есть несколько как бы этапов.

Я.: Да, конечно.

Ф.: Например, Вы сказали, что в 87-м году Вы поняли, что жизнь основана на насилии и страхе и ее нельзя реформировать, и потом, два года спустя Вы уже критиковали Французский революционный (?) Потом Вы ушли из Партии, по-моему в 91-м.

Я.: Да, в 91-м.

Ф.: Есть какая-то эволюция, но это мне не совсем ясно, если это как бы внешние пункты, как бы отражают внутренние?

Я.: Понимаете, тут сложно. Я понимаю о чем Вы говорите. Понимаете, иногда ведь так было со мной. Вот я чувствовал внутренне, что вот это надо делать, но надо было найти повод для этого. Потому что просто взять и на публику сказать – можно только нанести вред. Надо почувствовать момент, когда общество хоть в какой-то степени тебя воспримет, А так просто, вот, как диссиденты... Вот ошибка диссидентов какая? Вот им придет в голову «свобода» и что-то они начинают говорить «свобода!», а их никто и не поддерживает. Должен быть повод и определенный уровень общественного мнения понимания. Ведь почему я тогда решил по Французской Революции? Понимаете, говори я только о Робеспьере, Марате, и такой их жестокости, о терроре как о добродетели, о России, потому что у нас это тоже было – Ткачев, Ничаев, анархисты, те же большевики – это не было бы воспринято. Я тогда сказал, что вот Французская Революция – как было дело, но в тоже время сказал, что Французская Революция создала такой шедевр, как Права человека и гражданина, и вот, что в них написано. А потом уже перешел к нашим делам, что они очень похожи. И чем кончилась Французская Революция? - 200 лет кувыркались еще, так сказать, Реставрация, и так далее. Я хотел предупредить, что не такой простой этот процесс, одновременно вялый и, кроме насилия, большевики действительно сделали, но путем насилия. Но что они сделали? – В конечном счете обанкротились и привели страну к отсталости, т.е. тактически они на страхе выигрывали, а стратегически они проиграли.

Ф.: Но и здесь интересная и сложная тема, потому что, как писали диссиденты, что можно привыкнуть к тактике, и что это влияет на характер, и что невозможно было прямо говорить правду.

Я.: Да, ну с правдой я Вам скажу свои отношения с правдой. Учитывая то время, меня даже на одном съезде один выступающий назвал «великим молчальником», это член ЦК, Второй Секретарь Казахстана. «Пусть этот наш великий молчальник, - как он выразился, Скажет, что он задумал на самом деле». Я – «молчальник», «великий молчальник»! «Пусть он скажет, в конце концов, что он задумал». Ведь никто же не предъявлял претензии к Горбачеву, что он «задумал», ко мне – «что он задумал», понимаете? И он прав. Угадали эти негодяи, точно. Я что делал? Я очень хорошо понимал, что вот так резать постоянно правду-матку – это только вред нанести. Это – вдохновить твоих врагов, дать им повод – все. Я молчал и делал. А делал свое дело. Вот, скажем, я внес «Резолюцию о Гласности». Как я ее сам написал? Я же там написал, что «ради социализма», а что практически было потом – явно против социализма. Но они-то этого не поняли. Они приняли, чудакию Мне даже было обидно, думаю, ну какие же вы дураки, даже этой элементарной вещи, ловушки не поняли! Там их устраивало, что это ради социализма, а дальше им не хотелось думать.

Ф.: Кстати, кто писал книгу про Перестройку Горбачевскую? Он сам писал?

Я.: Да нет. Сам писать он не может. Я думаю там профессор Логинов у него, международная часть – Черняев, Медведев. Я думаю так. Эта книжка, я и ему прямо сказал и Вам говорю, мне не нравится, потому что он все время там оправдывается. А зачем ему оправдываться? – Ведь он сделал великое дело. Заслуживает и признательности и уважения. Его есть за что критиковать и я это делаю, вот в мемуарах – целая глава Горбачеву посвящена. Но это вовсе не закрывает того, что без него ничего бы не было, я бы ничего не смог бы сделать.

Ф.: Возвращаясь к Вашему молчанию, вот, например, когда Ельцин сказал, что сказал и потом... и Вы сами критиковали Ельцина. Интересно знать, Вы действительно критиковали от сердца?

Я.: Да нет, конечно. Вы не заметили одной детали. Я его критиковал за консерватизм. Я решил запутать его просто. Всего, что он вот требовал ускорения, перестройки, так – не так все. А я выступил и сказал, что он слишком консервативно к делам подходит. «Иногда,- говорю, «скачки, революционизм приводит к консервативным решениям. Дает обратный результат», и так далее. Т.е. за консерватизм. И тут же раскритиковал Легачева. Я единственный, кто поддержал Ельцина в критике Легачева. Ой. Легачев на меня обиделся. А я до сих пор...

Ф.: Целая динамика этого процесса довольно интересна.

Я.: Вот Ельцин понял. Он ни капельки не обиделся. Он подошел ко мне и сказал, «Ты знаешь, может быть ты и прав». Я его за несвоевременность действия, это действительно было несвоеременно. А потом я боялся вот за что. Поскольку я писал доклад Горбачева к летию власти, 70-ти ление, что ли, Советской власти. Да, я там написал большой кусок по борьбе со Сталинизмом его. И я очень боялся, что как бы участники пленума вот критикуя Ельцина не выплеснули и это из доклада. А они забыли о докладе, чудаки. Сосредоточились только на Ельцине. Они... сейчас они уже хитрее делают. Они смотрите сейчас используют Ирак для того, чтобы увеличить ассигнования на войну. Вот Американские и ваши правители не понимают, что у нас еще неустойчивое общество и восстанавливают КГБ, вот на войну по-больше денег. Ну

нет вот понимания на Западе того, что действительно происходит в России. Нет. Я очень об этом сожалею.

Ф.: В 1991 году в книге вашей Вы говорили, что покаяние должно быть личное – каждый человек должен справляться со своей совестью. Вы можете что-нибудь еще сказать по этой теме. Потому что пока я был здесь, несколько раз встретился с людьми, которые сказали, что не было достаточно «русское покаяние» или попытка, чтобы справиться с прошлым.

Я.: Меня даже критикуют за то, что я призываю к покаянию, даже демократы. «Да что Вы, Николай Иванович, я ничего не делал плохого». Я – как то есть не делал? Ты же соглашался с [этим строем] – ходил голосовал, 99%, аплодировал на собраниях. «Ну все аплодировали»... А, все аплодировали? Вот я же тебя не обвиняю, но говорить, что ты не..., мы не виноваты... Я сейчас вообще пишу мемуары. Сейчас меня меньше раздражает линия со Сталиным – ну подлецы и подлецы, негодяи, параноики, садисты, что говорить, а мы-то где были? Это я говорю, как предупреждение, что не повторяйте той же ошибки. Мы то где были? Мы же аплодировали, мы же одобряли, а на подмостках спектаклей мы, так сказать, играли патриотические спектакли, кино и т.д. Сборы разные патриотические, ну вот и добились своего. Так что...

Ф.: Вы сказали, что Вы тоже это сделали, но Вы сказали, что это было нужно, в том смысле как игра и Вы играли в эту игру.

Я.: Нет, я сказал, что я тоже ничего не делал, за что бы меня можно было ткнуть пальцем, что я сделал нечестный или какой-то подлый проступок. И тем не менее я каюсь и мне стыдно, что мы, старшее поколение, вот допустили тот строй и потеряли свою совесть. Поэтому я хотел сказать людям, что покаяние необязательно нужно тогда, когда ты не сделал там подлого проступка, не доносил ничего, в тюрьму не сажал, а надо, чтобы каждый человек понял, что он поступал неправильно, не по совести.

Ф.: Вы ушли из Партии и объяснили, что это «мое решение было по совести».

Я.: Но я написал, что я по совести вступал, во время войны, потому что это я считал своим долгом. Потому что на фронте, в общем-то, это может быть было единственное время, где не было различия между коммунистами и не коммунистами. Все одинаково ходили под пулями и я не помню, чтобы кто-то там из коммунистов трусил или еще что-то. И когда перед боем предлагали «кто в Партию?... кто хочет умереть коммунистом?» - ну, конечно, мы вся молодежь... Да может быть и после войны вступил бы в коммунисты, я не могу сказать сейчас, трудно сказать так, это такое... Сослагательных наклонений история не признает. Вот, конечно кажется, вот ты бы поступил так-то – да нет, ты уже поступил так-то, все забудь.

Ф.: Вот недавно в книге Вы кстати говорили о 'Вехах' и цитировали Кистяковского и Бердяева и я понял конечно почему Вам был привлекателен Кистяковский. Но Вы уже знали этих авторов в доперестроечное время?

Я.: Да.

Ф.: И читали их?

Я.: Что-то читал, отдельные статьи, это я читал, да. Но только щнаете, ведь это только... В основном я читал в Академии Общественных Наук. Это было место, где аспирантам можно было читать запрещенную литературу из спецхрана. Можно было. Кстати Кантианством я заболел там. Я ничего не знал о Канте. Знал, что это, как нам внушали в институте, реакционный философ, там.

Ф.: Это какие годы?

Я.: Это 56-й. Я сразу после 20-го Съезда ушел из ЦК, 56-60-й, учился я. Маркса перечитал и понял, что, тьфу ты, Господи, чему я поклонялся! Это ерунда какая-то.

Ф.: Уже в Академии?

Я.: Да, когда в Академии уже был. Это для меня Маркс, Ленин... Я понял. Я Ленина перечитал и для меня он вдруг стал не великим ученым, как писалось, а средненьким публицистом, такого среднего пошиба. Но это я тогда понял.

Ф.: Но я не совсем понимаю вот Ваш ответ по марксизму, потому что Вы также говорили, что это во время перестройки Вы действительно начали отрываться от марксизма?

Я.: Нет, вот я в Академии... Я не говорил об этом вслух и не писал. Но это Академия Общественных Наук, как я пишу, именно во время пребывания в Академии Общественных Наук марксизм излечил меня от марксизма.

Ф.: Уже в этот момент?

Я.: Да, да, да.

Ф.: И вот в тот момент Вы начали заниматься кантианством?

Я.: Да, да. Стал больше читать, вдумываться, как-то по-другому смотреть на вещи. Понимаете, многое ведь основывалось на феномене веры. Вот надо было постепенно потерять вот этот феномен веры в марксизм, в социализм. А это тоже сразу не делается, со мной, по-крайней мере, постепенно все. Когда вот пропаганда говорит о благосостоянии, повышении, люди стали жить все лучше и лучше, вот. «Жить стало хорошо, завтра будет еще лучше», а люди голодают, умирают с голоду.

Ф.: ... [Буковский] после смерти Сталина разочаровался и такое впечатление, что это разочарование в Сталина как бы создало его жищнь и его менталитет, что разочаровался в вере вообще. Сталин стал центральным фактором в его жизни.

Я.: о это правильно.

Ф.: У Вас может быть тоже скептический подход к жизни сформировался... созидалось?...

Я.: Тут меня немцы задержали из Буденстага. Вот. Почему Англия заняла такую позицию, а?



Ф.: В войне?

Я.: Да.

Ф.: Трудно сказать.

Я.: Неужели уж так прочно зависят США материально, черт его знает? Все-таки англичане знают Ближний и Средний Восток очень хорошо. История длинная. Колониальное время - знают. Слушайте, если мы, Христианский мир начал... плохой сигнал подал мусульманам, плохой. Надо было сейчас срочно строить систему диалога цивилизации, диалога. Пока еще у Христианского мира есть силы. А может быть к этому и будизм, как говорить, привлечь.

Ф.: Хорошо, спасибо.

Я.: Никак я не пойму. Американцы я немножко понимаю почему, это у них безрассудность бывает или как все время Фулбрайт говорил – "Arrogance of Power", вот книжка у него была такая интересная давно еще. У них есть конкретные интересы, понятно. Но англичан я не понимаю, никак не понимаю зачем. Нет у меня никаких симпатий к Саддаму, как Вы понимаете, нет. Фашист – есть фашист. Но убрать его с власти можно было найти много путей. Опять убивать надо мирных ребятишек, стариков. Ну кто мы такие? Мы поступаем не лучше в этом случае, чем Саддам.